

**ЗИНАИДА  
ГИППИУС**

ВЕДЬМА

# **Зинаида Николаевна Гиппиус**

## **Ведьма**

### **Аннотация**

«В парке, в тени громадной липы, сидела дама лет около тридцати или более, изысканно, не по-деревенски, одетая. Дама занималась английским вышиваньем и порою вскидывала глаза с очень черными ресницами на семнадцатилетнего мальчика, который сидел возле нее и держал рабочую корзинку. Мальчик был бледноват, худ, тонок, некрасив, но чрезвычайно благовоспитан, изящен в манерах...»

# Содержание

I	4
II	9
III	14
IV	19
V	25
VI	32
VII	39
VIII	45

# Зинаида Гиппиус

## Ведьма

### I

В парке, в тени громадной липы, сидела дама лет около тридцати или более, изысканно, не по-деревенски, одетая. Дама занималась английским вышиваньем и порою вскидывала глаза с очень черными ресницами на семнадцатилетнего мальчика, который сидел возле нее и держал рабочую корзинку. Мальчик был бледноват, худ, тонок, некрасив, но чрезвычайно благовоспитан, изящен в манерах.

– Кузина, – говорил он, обращаясь к даме. – Я, право, не понимаю, как вы, человек свободный, решились похоронить себя на целое лето в такой глуши. Говорят: Малороссия, Малороссия! А что за нравы, что за люди! Хорошо, что мы всю прислугу привезли из Петербурга. Мадмуазель Летрэ, гувернантка Али, впрочем, уже сбежала.

– Мадмуазель Летрэ, как я слышала, оставила ваш дом не только вследствие деревенской скуки, – обратилась кузина к своему собеседнику с лукавым взглядом.

Мальчик (его звали Поль) слегка покраснел, не умея скрыть самодовольной улыбки, и в замешательстве принял-ся пощипывать усики, которых не было.

– Да... Конечно. Мало ли что! Это престранная особа! У нас в правоведении такой тип называют... Pardon<sup>1</sup>, кузина, вот ваш клубок. Если б вы знали, кузина, как я дорожу вашим обществом! Вы здесь – оазис... Какой добрый ангел шепнул вам мысль приехать к нам гостить?..

– А правда, что вы ждете новую гувернантку?

– Да, папа давно послал в Киев, в контору... Воображаю, что это будет! – прибавил он с искренней досадой. – И зачем Але гувернантка? Все капризы папа. Взгляните: ей выезжать пора, а не с гувернантками.

По дорожке от дома к собеседникам приближалась девочка лет пятнадцати-шестнадцати. Полная, крупная, даже грубоватая, она легко могла бы сойти за двадцатилетнюю, если б не ее совсем детский костюм: белое платье с шитьем, короткое, не закрывающее крепких, круглых ног, и распущенные волосы, перевязанные лентой.

– Что ты, Аля? – спросила ее черноволосая дама. – Ты чем-то недовольна?

Девочка нетерпеливо дернула плечом и опустила на скамейку. В лице была недетская скука и досада.

– Сиверцев вчера не приехал, вот что, – подтрунил Поль над сестрой. – А сегодня, хоть и приедет – уж не то будет. Сегодня Аленька к новому начальству поступает. Гувернантка явится новая...

– Э, мудрят, мудрят... – с раздражением заговорила де-

---

<sup>1</sup> Извините (фр.).

вочка. – Ну, да все равно. Я с ней сидеть не буду. Я предупредила, что это лишнее.

– А что, Сиверцев... он граф? – рассеянно спросила кузина, продолжая вышивать. – Да, знаю, граф. И у него, кажется, состояние хорошее?

– Прекрасное состояние! – подхватил Поль. – Я удивляюсь папа: он его так странно принимает. Одно имение здесь, по соседству, в Черниговской. Да еще имения...

– Жаль только, что он ужасно некрасив...

– Вы находите, кузина? – сказала Аля с небрежностью. В эту минуту ей было даже не двадцать лет: она казалась ровесницей нарядной дамы с вышиванием.

Кузина собрала работу и ушла. Поль хотел идти за нею, но она сказала, что жара утомила ее и что она пойдет к себе. Поль проводил глазами ее затянутую фигуру и свистнул.

День точно становился жарким. Белый куст жасмина благоухал приторно и надоедливо. Песок дорожки обнажался от тканей. Снизу, от невиданного стоячего озера несло раздражающим, острым запахом тины и водяной плесени на горячем солнце.

Девочка сидела молча, сосредоточенно и серьезно сжав губы.

– Хорошо, что земли много, – выговорила она наконец, не обращаясь к брату, как бы про себя. – Когда земли много, особенно в здешних местах – это очень доходно.

Поль взглянул на девочку с невольным уважением.

– Молодец ты, Аля, – сказал он. – Умница. Даром что девочка. Мы с тобой оба не пропадем, пусть себе папа киснет, как хочет. А? Неверно я говорю?

Он положил руку на плечо сестры. Она перевела на него большие серые, холодноватые глаза, в которых не было ничего детского, и небрежно улыбнулась, как будто хотела сказать: «Я-то не пропаду, а вот уж ты со своим цыплячьим телом – не знаю. Не отвечаю».

В это мгновение в конце дорожки показалась бегущая фигура девушки в розовом платье и переднике.

– Это Марфуша, – сказала Аля, мгновенно сдвигая брови. – Э, началось...

Марфуша так запыхалась, что в первую минуту не могла произнести ни слова. Это была очень хорошенькая девушка, худощавая, мало похожая на петербургских горничных, чистенькая, с широко расставленными карими глазами и тупым носиком. Марфуша была крестница самой барыни, училась в профессиональной школе и только полтора года тому назад была взята в дом ходить за Алей.

– Барышня, пожалуйста! – выговорила наконец Марфуша. – Приехала новая мадемуазель. Папаша вас зовут. Пожалуйста скорее.

Аля встала, не произнеся ни слова, и пошла к дому. Марфуша тоже хотела бежать, но Поль поймал ее за платье.

– Постой, постой, Марфочка. Куда ты? Расскажи, какая она, новая?

Марфуша засмеялась.

– Пустите, барин, ну что это? Идите лучше домой. Уж и гувернантка – красавица!

– Правда? Правда? Красивее тебя?

– Пустите! – сказала Марфуша так серьезно, что Поль тотчас же отнял руки. – Извольте идти домой. А гувернантка – ой, страшная! Отродясь не видала страшней!

– Ну, так я и знал! – с искренней горестью воскликнул Поль, ударяя себя по карманам, чтобы найти портсигар. Он курил, хотя еще неофициально. – Знал, что будет рожа! И все это папины штуки!

Марфуша убежала. Поль, лениво и досадливо насвистывая, пошел к дому небрежной походкой с перевальцем.



## II

В темноватой столовой, какие часто бывают в барских помещичьих домах, у края длинного стола сидела только что приехавшая гувернантка, а в некотором расстоянии от нее хозяин дома, Петр Васильевич Авиллов, человек лет сорока пяти, высокий, худой, почти костлявый, сутулый. У него было болезненное лицо со впавшими, сердитыми глазами, борода и усы с сильной проседью, длинные и редкие, голос раздражительный. Он занимал довольно видное место, но вечно был в отпуску, вечно собирался в отставку и вообще его знали за человека с большими странностями. Жена, дама кислая и совершенно больная, ни во что не входившая, не покидавшая своей комнаты, давно махнула на него рукой. В Петербурге, как и в деревне, они зачастую не виделись по неделям.

Аля вошла в комнату, тяжело ступая, поцеловала руку отца, которого еще не видала, и, подойдя к гувернантке, присела.

– Mademoiselle...

– Madame... – поправила ее француженка.

– Madame Linot, вы знаете ваши обязанности, – проговорил Петр Васильевич по-французски. – Моя дочь знает свои. Я требую их точного исполнения. Слышишь, Аля?

Аля и глазом не моргнула. Она произнесла: «oui, mon

реге»<sup>2</sup> таким тоном, как будто никогда ничего другого не говорила.

– А теперь ты проводишь madame в ее комнату.

Аля покорно встала. Отец, кивнув головой, ушел к себе. Гувернантка последовала за Алей.

В просторном деревенском доме с целым рядом приемных и барских комнат, высоких, красивых, всегда около коридора или черного крыльца есть закоулочки, крошечные комнатки с дешевыми обоями, с окном, выходящим на амбары и кухню. Такая комната была в авиловском доме и называлась «гувернантки ной». В ней всегда жили гувернантки. Лучшей комнаты им не давали не из какого-нибудь дурного чувства, а просто по твердому убеждению, что ничего лучшего для гувернантки не требуется.

Сюда Аля проводила новоприбывшую. Пока она хлопотливо отцепляла ридикюль, развязывала ленты шляпы, Аля стояла у двери и рассматривала гувернантку своими холодноватыми, серыми глазами. Она уже знала, как надо действовать. О, совсем иначе, чем с m-lle Летрэ. Та была изящная, хитрая, расчетливая француженка. Аля держала себя с ней кошечкой... И они отлично понимали друг друга. Если б не глупая случайность с Полем, когда папа подслушал его и француженку в саду – эта удобная m-lle Летрэ и до сих пор была бы здесь.

– Вы знаете по-русски? – сказала Аля сумрачно и реши-

---

<sup>2</sup> «да, папа» (фр).

тельно, обращаясь к гувернантке.

– Да... Я понимаю... говорю... – произнесла та скверно, с дрожью в голосе. – *Mais vous, mademoiselle, vous parlez francais, n'est ce pas?*<sup>3</sup>

– Конечно, я говорю, но теперь я желаю говорить по-русски. Пожалуйста, запомните, что будет все, как я желаю. Вы будете говорить папа, что вы мною довольны. При нем мы станем показывать друг другу расположение. Без него – прошу мне не мешать в моих делах и делать то, что я прикажу. Поняли?

– Да... *mademoiselle*... Но я не могу... Я не знаю...

– Не можете? Тогда отвечаю вам, что через день вас здесь не будет.

Ужас отразился на лице гувернантки. Аля это заметила и произнесла примирительным тоном:

– Лучше подумайте. Вам выгоднее. А теперь я вас оставлю пока. *Bonjour, chere madame Linot.*<sup>4</sup>

Она сделала реверанс, слегка улыбнулась, довольная собой, и вышла из комнаты.

Мадам Лино опустилась на стул. В лице ее теперь была окаменевшая злоба, привычная. Шляпка лежала у нее на коленях. Мадам Лино было, вероятно, не больше шестидесяти лет, но казалась она старше. Костлявые плечи выставлялись углами из-под старой бархатной кофты прямого фасона, с

---

<sup>3</sup> Но вы, мадемуазель, вы говорите по-французски, разве не так? (фр)

<sup>4</sup> Доброго дня, дорогая мадам Лино (фр.).

обдерганным стеклярусом. Из ворота кофты выходила длинная, тонкая, желтая шея. Голова постоянно легко покачивалась на этой шее. Бандо зеленовато-черных, вероятно, крашенных волос гладко спускались на уши, открывая широкий пробор. Лицо узкое, с длинными продольными морщинами, с упавшим ртом и острым носом, с крошечными глазами под воспаленными веками без ресниц, выражало прежде всего безмерную усталость.

Мадам Лино знала, что ей почти невозможно найти другое место, потому что гувернанток берут молодых и сильных. Здесь – случайность. И она не могла ничего ответить этой дерзкой девочке.

Дверь тихо скрипнула. Мадам Лино вскочила, стараясь принять равнодушно приятный вид и удержать качание головы. В комнату, осторожно ступая, вошла Марфуша.

– Прикажете воды для умыванья? – спросила она, приглядываясь к гувернантке.

– Нет... Благодарю, спасибо, милая моя. Лучше потом, вечером.

– Вечером? Хорошо-с. Позвольте, я вам развяжу! – бросилась она к чемодану, опутанному веревкой, узлы которой напрасно силились развязать худые, длинные пальцы француженки.

Марфуша заметила сразу и дрожание головы на тонкой шее, и острый нос, и усталые глаза, но почему-то гувернантка теперь совсем не была ей страшна.

Живо развязав чемодан, Марфуша раскрыла его.

Мадам Лино торопливо бросила сверху черный платок и сказала, что она разберется сама. Но Марфуша успела заметить там, между другими мелочами, метелку из перьев для пыли с очень длинной, выдвижной ручкой и странное, бледное, зеленое платье, шелковое. Платье в особенности поразило Марфушу. «У эдакой старухи наряд такой богатый! – подумала она. – А бельишка почти не видать».

Мадам Лино отпустила Марфушу, которая сошла вниз, в людскую, очень задумчиво, забыв о воротничках, которые Аля велела ей выгладить.

### III

Вечер был сырой, ветреный. Едва разгуливалось после нескольких ненастных дней. Большие звезды мигали кое-где между темными, быстро бегущими, разорванными тучами. На прямой аллее парка, в левой стороне, около малинника, мелькает белое платье Али рядом с маленькой, немного скорченной, фигурой графа Сиверцова. За ними, вдалеке, следует высокая, качающаяся тень: это – мадам Лино. Аля вышла из дому с нею, а потом приказала отстать, ходить сзади и не мешать. Мадам Лино ходит сзади, ветер задувает ей за широкий ворот бархатной кофты, к туфлям липнет сырая земля.

Граф Сиверцев ниже и худее Али, он жметя и устал, но хочет казаться молодцом. В шляпе и вечером ему кажется не более сорока пяти лет. Аля неузнаваема: голосок у нее тонкий, капризный, она слегка картавит и вся мягкая и грациозная, как котенок.

– Вы не устали, граф? – спросила она лукаво.

– О, нет... нет... дусинька... Что вы? С вами? Дусинька... деточка...

– Граф, отчего вы так жмете мою руку? Я заплачу... Знаете, мне очень нравится, что вы такой смелый... Ночью гулять любите... И ах, какой у вас чудный дом! Я забыть не могу! Мы тогда ездили с папа ненадолго, и кроме того – папа не

эстетик. А я обожаю стиль... Я не много понимаю, но меня чарует... В других имениях у вас такие же дома, граф? Ах, я вам призналась в своей слабости... Я так люблю... Аля так любит все красивое, изящное...

– Мм... деточка... – таял граф. – Такая деточка, и уже все понимает... Да вы меня совсем обворожите... Куколка... И не сердится... Милая какая...

– Пройдемте дальше, – вдруг торопливо шепнула Аля. – Туда, вниз... Здесь кто-то есть.

– Да гувернантка ваша...

– Нет, не она... А она может остаться.

И Аля скользнула в черную тень, увлекая графа.

Она не ошиблась. Мимо остановившейся мадам Лино, незаметной у ствола дерева, проходила другая парочка – Поль и закутанная в черное кружево кузина, тридцатилетняя дама, приехавшая в Авиловку на лето с надеждой, что в Петербурге забудут пока ее семейные неприятности.

– Кузина, кузина... – шептал Поль. – Не отказывайте мне, вы не можете, я настаиваю, я требую...

– О Поль! – бессильно простонала кузина под черным кружевом.

Поль обнял ее затянутый стан.

– Сегодня в три, да? Да? – со свистом прошептал Поль. В голове у него смутно мелькали лица его товарищей в правоведении, их удивленные и уважительные взоры, когда он им скажет, что... бывает у такой-то, а она очень, очень хо-

рошенькая женщина, муж с положением... Поль был крайне доволен собой и ранними удачами.

Мадам Лино не смела идти домой. Ей следовало вернуться с Алей, как она пошла, но Али не было. Она двинулась наудачу вперед, заметив что-то белое за кустами. И опять чей-то шепот донесся до ее слуха.

– Уйди ты, уйди, – умолял женский голос. – Что ты меня тревожишь? Я тебя не приманиваю. Любить тебя – что ж, люблю... А не приставай ты ко мне сейчас же со свадьбами... Подожди... Скучно мне...

– Чего же ждать-то, Марфа Тимофеевна? – возражал мужской хриповатый басок. – Дано слово – ну и конец.

Вы, может, о деньгах сомневаетесь? Я вам расписку из сохранной кассы покажу. Приедем в Питер – сейчас квартиру найдем... У меня место в погребке готовое. Шикарный такой погреб. Квартира, обстановка... Ничего не пожалею. Прислугу найдем... Уж это что же? Уж чего же вам еще?

– Да я ничего, – робко отвечала Марфуша. – Конечно, я вам очень благодарна должна быть, Аркадий Кузьмич... За ваше внимание...

– За любовь-с пламенную, Марфа Тимофеевна! Что я теперь? Лакей. Не больше того. А приедем в Питер, обвенчавшись, – сами по себе заживем. Уж чего же еще желать? Уж я и не знаю.

– Я ничего... Конечно, это весьма приятно... Ай, пустите меня! Тут кто-то есть.



Марфуша вырвалась из объятий своего жениха, лакея Аркадия, и очутилась на дорожке около мадам Лино.

– Батюшки! Да это вы! Что это вы тут в темень такую одни? Сейчас дождь пойдет.

– Я должна здесь. Барышня там... На прогулке...

– На прогулке. Это ее все с графом носит! Дела, нечего сказать! А тут человек мокни из-за нее. Постой же, я их спугну...

И прежде чем ей могли возразить, она закричала пронзительно и тонко:

– Барышня-я! Домой прося-я-т!

Из темноты, совсем близко, вынырнула белая фигура.

– Что такое? Ты меня зовешь?

– Домой просят... Ужин подали...

– Прошу вас, пройдите к себе, мадам, – сказала Аля по-французски. – Если к вам постучатся – скажите, что мы вернулись вместе и я у себя. Я сейчас иду.

Марфуша взяла под руку мадам Лино и повела ее к дому. Она ощущала сквозь просыревший бархат кофты руку такую худую и костлявую, что, казалось, это была одна палка. Мадам Лино дрожала, и голова ее зловеще покачивалась.

Марфуша привела ее в ее каморку, зажгла лампу и открыла постель.

– Вот и ложитесь, – сказала она весело. – Замерзли? Ужинать-то принести вам? Или чаю, что ли? Согреетесь.

– Добрая девушка, – произнесла мадам Лино. В лице ее

не было никакой ласковости, но что-то торжественное и совсем не отталкивающее. – Вот добрая девушка. Спасибо – благодарю. Ты, девушка, на мою дочь похожа. Такая же лицом красивая.

Марфуша вспыхнула от удовольствия. Она хотела выйти из комнаты, чтобы принести чай, но старуха подозвала ее к своему стулу и взяла за руку. Прикосновение холодных, костяных пальцев заставило вздрогнуть девушку. Ей было жутко, но хорошо, и мадам Лино совсем не была отвратительна и страшна, а мила, и ее слова о дочери трогали Марфушу.

– Ты, девушка, мной любима за сердце и за то, что схожа с Мартой. Она была удивительная, Марта, о! Ты многого не знаешь. А теперь спасибо – благодарствуй. Я тебе потом подарю. От Марты подарю. Подумай, чего ты давно хотела. Я подарю.

– Благодарим-с, мне не надо-с, – проговорила Марфуша, глотая невольные слезы. Ей представилось, как худые, дрожащие пальцы будут рыться в чемоданишке, отыскивая для нее подарок. Но старуха уже замолкла, верно, задремала и, тихо покачивая головой, сидела на стуле. Глаза смотрели куда-то мимо Марфуши. И девушка скользнула вон, неслышно притворив дверь.

## IV

В людской, за длинным деревянным столом, при свете железной висячей лампы, собрались ужинать. Прислуга в Авилровку вся была привезена из Петербурга, кроме судомойки, унылой, худой и упрямой хохлушки, которая, между прочим, никак не соглашалась работать по пятницам, утверждая, что это грех. Остальная прислуга считала судомойку чином ниже и называла мужичкой. Упитанная кухарка Соломонида, розовая, здоровая и дельная баба, поставила на стол громадное блюдо с дымящейся бараниной. Килина, пожилая девушка, горничная барыни, отвернулась. Она кушала очень мало и жеманно попросила киселя. Аркадий сел на обычное место, около Марфуши. Аркадий имел очень приятную наружность и содержал себя, что называется, в порядке. В деревне он не носил фрака, костюм его был нов, рубашки свежи, подбородок вкусно и гладко выбрит.

На краю стола, на низенькой табуретке, сидел кучер Фегоност, муж кухарки Соломониды. Он был громаден, страшен, угрюм, со взъерошенной бородой. Говорил он редко, но, начав, долго не мог кончить. На него смотрели с опаской, хотя он дурного никому не делал, и удивлялись, почему барин к нему привязан: дело свое он вел спустя рукава и во всех отношениях был, что называется, человек неудобный. Жена его, Соломонида, смотрела на него не иначе, как со

злым сокрушением – и совсем его не понимала.

– Что это у нас Марфа Тимофеевна загрустили в последнее время? – игриво, но ни к кому, собственно, не обращаясь, произнес Аркадий.

– Свадьбу долго не играешь, то и грустна, – отозвалась Соломонида, с сердцем подвигая Феогносту вторую краюху хлеба.

Аркадий молодцевато крикнул.

– Мы с нашим удовольствием, да вот барышни жеманятся. Какое слово прошлый раз сказали: скучно! Это что же значит-с: скучно?

– А то и значит, что скучно, – неожиданно проговорил, заворочавшись, Феогност. Голос у него был густой, внушительный, слегка глуховатый. – Верно, что скучно.

– Да что же скучно-то, позвольте узнать? – загорячился Аркадий. – В смысле чего же это тут?

– А в смысле того, что скучно, – упрямо повторил Феогност. – Эдакая, прости Господи, скука – зарез! Я вообще говорю, ну и к тебе тоже. Удивительный ты есть человек, Аркадий! Всякой дрянью веселишься, утешаешься. А вот Марфушка хорошее слово сказала: скучно. Это верно.

Марфушка встрепенулась. Она любила Феогноста и даже называла дяденькой.

– Я к тому сказала, дяденька, – проговорила она робко, – что Аркадий Кузьмич все насчет свадьбы... Ну что свадьба? Ну и после свадьбы все будем жить...

– Нет-с, уж извините, Марфа Тимофеевна! После свадьбы другое пойдет. Разве не докладывал я вам, что мы иной, счастливой, жизнью заживем? Квартира, обмоблировка...

– Квартира, обмоблировка! – вдруг со злостью передразнил Феогност. – Эка выпятил! Подумаешь, обмудрил! Веселись, Марфа! Всю скуку руками развел. Черви мы ползучие, вот что!

Все на секунду замолкли.

– Это оттого Марфа Тимофеевна грустны, – начал опять Аркадий, – что их за новой мамзелью ходить приставили. А она страшная-престрашная. Тут наплачешься.

– Нет, неправда! – горячо заговорила Марфуша. – Никто меня не приставлял, я сама... Она хорошая, чудная только... Вчера говорит мне: ты на мою дочь похожа, вылитая, говорит...

– Ишь, какая французинка у нас завелась черноглазая! – засмеялась Соломонида. – Смотри только, девка, ты с ней не очень... Я замечаю – тут не чисто дело...

– А что? – спросило несколько заинтересованных голосов.

– Да что... Я было не хотела говорить... Ведь не разберешь... Катря, – и она указала на худую судомойку, – давно в уши зудит: мамзель-то неспроста. Тут у нас, мол, гора такая вблизи.

– Говори толком! – заревел Феогност, ударяя могучей дланью по столу.

Соломонида вскипела.

– Чего заорал, мужик! Не бояться тебя! А мамзель эта Марфушкина – ведьма, вот что!

Все остолбенели. Аркадий хотел презрительно улыбнуться, но у него ничего не вышло.

– А о какой же ты горе путала? – спросил Феогност спокойно.

– А о такой же и горе. Откудова она, мамзель-то эта? Из Кеева. А в Кееве-то что? Лысая гора. Высоченная, говорят, такая гора, округ густые леса, непроходимые, а самая макушка голая, желтая. И на той горе по пятницам да под праздники собираются... Знаешь кто? Простоволосые... Вот и Марфушкина мамзель туда шмыгает. Печка-то есть у нее в горнице? В трубу, очень просто.

– Брешь ты, баба, – с сокрушением прорычал Феогност. – Эка сила в тебе дури!

– Ну, уж нет, ну, уж нет, не буду я задаром греха на душу принимать! Пусть Марфушка скажет, не стоит у ей в горнице метла? А что она шепчет про себя, да головой кивает? А? Смотри, девка, как бы ты около ее не пропала. На дочь на ейную вишь ты похожа! И то ходишь, как порченая. Ни за копеечку пропадешь.

– А и хорошее дело! – неожиданно произнес Феогност. Соломонида разъярилась.

– Да ты пьян, что ли, идол?

– И не пьян. А хорошее, говорю, это дело, коли ежели ты ведьма. Все мы черви ползучие, наест, наест гусеница на од-

ном листе – переберется на другой, вот-те и все. И сотворил же Господь экую людям скуку смертную! Народился, погалдел, поболел, округ себя потрясся, день да ночь – сутки прочь – и в земельку полезай. Скажи мне сейчас: вот, Феогност, вознесешься ты на три четверти от полу и эдак повисишь, ну, положим, минут с пять. Но зато все твои родичи сейчас помрут. Ей же Богу, пусть помирают, лишь бы мне повисеть. Потому тогда все во мне другое делается. И ежели, например, эта мадам самая, допустим, несказанно в трубу по ночам прошмыгивает и мимо месяца марш-маршем на чудесную гору едет – исполать ей. Вот это точно. Это можно позавидовать.

Соломонида и все присутствующие, кроме Марфуши, были окованы ужасом и негодованием. Судомойка набожно крестилась и что-то шептала с кислым лицом.

– Тьфу, тьфу, оглашенный! – заплевалась Соломонида. – Очухайся ты ради Господа! Он спятил, миленькие мои! Вот беда-то!

– И не спятил я, и ты, баба, не трости. Что вы Марфутку-то смущаете? Ведьма, ведьма, пропадешь! Ну и ведьма. Ну и шмыгнет Марфутка мимо месяца, а вы в дыре будете сидеть, да мертвых баранов лопать – ишь у Аркадия от сала щеки-то блестят! Нет уж, брат Аркадий. Коли в ней, в девке, эта скука объявилась, так ты ее квартирами да обмоблировками не изгонишь. Это в ней человеческий, не червяной дух скучает.

– Напрасно вы все это проповедуете, Феогност Аристар-

хович, – дрожа от гнева, заговорил Аркадий. – Первое, что грех, а второе – я вам не могу позволить, Марфа Тимофеевна моя будущая супруга.

– Да ну тебя, – тяжело поднимаясь и махая рукой, произнес Феогност. – Наплевать мне. Не привязывайся. Я свое сказал, а теперь – пойду на солому. И ты, баба, не лезь. Надоели. Эка, Господи, скуку-то сотворил! Сила!

И он, тяжело переваливаясь, зевая, потянулся за шапкой, нахлобучил ее и вышел.

После его ухода говорили долго и много. Вопрос о Лысой горе и новой мадам был решен окончательно. Всякий припоминал, что заметил по этому поводу. Килина утверждала, что мадам разговаривала на дворе в сумерках с козлом Васькой и они оба дружественно кивали головами. Аркадий нашептывал что-то свое на ухо Марфушке, но она не слыхала: облокотившись на стол и положив голову на руки, она смотрела прямо, в темный угол, и невольно воображала синий месячный простор, свободный, вольный, без земли под ногами, круглую, желтую луну близко, большущую, как мельничное колесо... И ветер свистит в ушах от быстрого полета... Неужели и вправду она может?.. Да, не обманывает дяденька Феогност: это – не скучно, это страшно, это – хорошо...



## V

Поль поймал за рукав сестру Алю, когда она пробежала мимо него в коридоре.

– Послушай, Аля... Ты смотри... И неужели ты надеешься? Аля поглядела на него холодными и удивленными глазами.

– Что такое? О чем ты говоришь?

– Ну, сестренка, не сердись... Я ведь знаю, ты министр... Но я понимаю все, – вот что я хотел сказать. Только надежды мало. А уж как было бы хорошо!

Аля тонко улыбнулась.

– Нет, ты плохо видишь, брат. Ну, еще молод... Мы, женщины, скорее растем. Да у тебя и характера нет настоящего. Помни, ты должен выработать характер, иначе я тебе в будущем не помощница. Завись от больной татап и рара, который кажется самодуром в благородном вкусе, и которого, в сущности... так легко обойти.

– Откуда это у тебя все? – с искренним удивлением произнес Поль. – Нет, сестренка, ты умница. Я всегда это знал. Только не оборвись.

– А ты только ничему не удивляйся. Все к лучшему. Папа не хочет больше принимать графа, кричит, что он шарлатан, что там его дела какие-то по имению открылись, что это грязь, что он – рамоли...

И Аля улыбнулась, показав ряд чудесных зубов, крепких и острых.

– Но и это к лучшему, – продолжала она. – Иначе, может, ничего и не вышло бы. Вот увидишь.

– А гувернантка тебе не мешает? – заботливо спросил Поль.

– О, нет. С ней даже удобнее. Несчастливая, она только и боится потерять место. Это держит ее в страхе и повинновении – мне... Жаль, придется отплатить ей черной неблагодарностью.

– Сестренка, так не забудь меня... потом, а? Не забудешь?

И он поцеловал ее в розовую щеку. Чьи-то шаги раздались в коридоре, и Поль быстро скользнул в сторону.

Аля же прошла на балкон, где сидела мадам Лино, и тотчас же монотонным и невинным голосом начала читать какой-то нравственный французский роман. Слова и звуки пропадали, ненужные. Аля была слишком занята своими планами и мыслями. Гувернантка, казалось, была еще дальше от того, что ей читали. Она сидела, тихая, прямая, в своей просторной бархатной кофте с порыжелыми швами и стеклярусом. Гладкие бандо мертвенно спускались на ее виски. Красноватые глаза мигали часто и глядели куда-то вдаль. Она жевала губами и шептала беззвучные, неведомые слова.

Марфуша давно собиралась доложить барышне или барину, что мадам как будто нездорова. Руки у нее по утрам сильно дрожали и часто она хотела и не могла ничего сказать.

Марфуша ходила за ней усердно, почти нежно, присматривалась к ней внимательно, стараясь подметить то, о чем думала с некоторых пор настойчиво и постоянно. Мадам тоже привыкла к Марфуше, часто ласкала ее, проводя костяными пальцами по ее пышным черным волосам, и порою длинно и одушевленно рассказывала ей что-то, расхаживая по крошечной комнатке. Оттого ли, что язык ее был скуден и неправилен, или что сам рассказ был всегда особенно чужд Марфуше, но она слушала и не понимала, точно ей говорили не про то, что случается, а сказывали спутанную сказку. И ей нравилась эта непонятность, и она опять искала в ней намеков на свои догадки и мысли.

Вернулись жары. Сухой, пронзительный зной, от которого почти не было спасения и ночью. Ночью все-таки хоть солнца не было с его беспощадностью. Яркая медная луна выплывала из-за леса и останавливалась над озером. В десятом часу Марфуша вышла из людской и присела на ступеньках крыльца. И она, прежде такая веселая и сильная, чувствовала себя нездоровой, должно быть, от жары все болела голова и губы пересыхали.

Вышел и Аркадий.

– Марфа Тимофеевна! Пройтись к озеру теперь, в парк – очень превосходно.

– Не хочется, Аркаша, – просто отозвалась девушка. – Что-то устала я. Набегаешься день-то.

– Это верно. Служба такая собачья. Погодите, Марфа Ти-

мофеевна. Недолго осталось. На своей воле заживем. Целый день у меня на пуховиках будете лежать, да чаек с лимонцем кушать. А теперь, пока что, пройтись весьма не мешает. Это самое деликатное удовольствие – прогуливаться в лунную ночь. Акилина Сидоровна с нами пойдут.

Акилина пожеманилась и согласилась. Пошла с ними и толстая Марья-прачка и судомойка Катря. Хотели привлечь еще одного кавалера, дворника Трофима, но его нигде не оказалось.

– Как же мы все-то уйдем? – сказала Килина. – А неравно господам что понадобится?

– Ну, понадобится им, – недовольно протянул Аркадий. – Мой сидит опять в кабинете запершись, книжки какие-то зудит. До утра не отомкнётся. Барыня с печалей со своих давно, я думаю, храпит. А что уж барышня – этой и след простыл. Будет она дома сидеть! Тоже и мы кой-что смекаем. С мадамой гуляет. Знаем мы, с какой такой мадамой...

Аркадий галантно предложил руку Марфуше. К другой руке самовольно, вопреки правилам хорошего тона, в котором Аркадий был большой знаток, прицепилась Килина. И вся компания двинулась в парк.

Ароматы и свет, казалось, были ярче от зноя. И зной был ясный, сухой, без туманов, без сырости. Только крупная, тяжелая роса блестела на траве и нигде не поднималась паром. Сходя к озеру по извилистым, белым дорожкам, Аркадий сначала говорил, но потом все замолкли. Точно кругом ста-

новилося тише, тише. Над неподвижним, як скло, озером з берегами високими, де рос узкий камыш, стояв місяць, ще не повний, з неровним краєм, але вже такої яркої і жовтої, що, казалось, він вбирає в себе всі звуки, і чим ярче світ – тем глибше кругом робиться тишина. Вниз, в озеро, була та ж чорно-синя глибина з неподвижним жовтим місяцем. Від нього шав стовп по воді, але іскри не дрожали в ньому, так мертво стояла вода. Її точно взагалі не було.

Налево від мостика, старого, сірого, де берег раптово піднявся вище і величезна дуплиста іва прямо над водою тянула міцні сучки, було місце, не заросле камышом, особливо глибоке, як говорили, бездонне, яке звалось Тришкиним омутом. Розповідали, що тут давно когось потонув безпутний кузнец Тришка, який хотів одружитися неодмінно на русалці. Врешті, цей розповідь уже пам'ятали небагато.

Тепер омут, іва і високий берег під нею були освічені тихими, пронизливими променями місяця. Марфуша перевела туди очі – і здригнулася: між високих, гнущихся від роси трав, наполовину прихована ними, сиділа нерухомо темна фігура.

Аркадій теж помітив її і глухо откашлявся, бажаючи сказати щось. Але налякана Килина попередила його і шепотіла:

– Батьки, батьки! Але ж це мадам наша шкідлива! Ай-ай-ай, рідні! Сидить над омутом і не шелохнеться. Колдує, проклята, їй же Богу!

– Чи ж я не говорила? – со спокойным достоинством произнесла хохлушка Катря.

Марья-прачка, из храбрых, предложила:

– А ну-кась, зайдем ей с заду. Не услышит. А оно виднее. Шепчет ли она что, или как...

– Боюсь... Боюсь... – шептала нежная Килина, повисая на руке Аркадия, однако пошла охотно.

Аркадий пожимал плечами. Он чувствовал, что надо дать понять, насколько он, образованный петербургский человек, далек от всех этих «глупостей» и не верит в них. Но слишком уж ночь была ярка и странна, слишком неподвижно сидела старуха в траве над омутом, откуда на нее глядел пристально месяц. И скептические слова на этот раз у Аркадия как-то не выговорились.

– Смотрите, простоволосая! – шептала Марья. – Нонче месяц неполный, да и не пятница, она нонче на гору не поскочет. Ишь, сидит, уставилась. Непременно она, миленькие, водяную нечисть там видит. Глядите, глядите! И головой качает, и губами шепчет...

Они были совсем близко от ивы и от старухи. Она точно покачивала ослабевшею головой на тонкой шее, не отрывая глаз от воды.

Марфуша смотрела жадно. Сначала в душе промелькнула печаль, что вот – она сидит одна, ночью, на росистой траве, больная, не смея уйти. Но фигура старухи была пряма, почти надменна, лицо выражало спокойную торжественность,

ожидание без тревоги. И Марфуша забыла о жалости, неясная зависть прокралась ей в сердце. Вот они тихо, как воры, подсматривают за ней, не понимая, и все-таки ничего не видят, потому что им не дано. А она наверно видит. Какое чудесное, небывалое, нескудное видит она в небесной глубине, опрокинутой на дно озера! Оттого она и не боится без людей, а все боятся без других людей – и Марья, и Катря, и даже Аркадий... Марфуша приглядывалась к водяному стеклу, стараясь и надеясь хоть что-нибудь увидеть, хоть зеленую прядь волос, хоть бледную руку русалки... Она невольно произнесла в уме с искренностью и простотой: «Господи, дай увидеть... Сделай, чтоб я была достойна»... И сейчас же с ужасом спохватилась: «Что это я? О чем Богу молюсь? Ах, я грешница... Ведь это же нечисть, этого нельзя...»

И она принялась, под сдавленные восклицания прачки Марьи и Аркадия, твердить себе, что она грешница и что это все «нечисть».

«Надо в церковь чаще ходить, – вразумительно говорила она себе. – А это все надо ненавидеть».

Она в последний раз обернула глаза к неподвижно сидящей старухе под ивой, залитой желтым месячным светом, и почувствовала, что не ненавидит ее, а любит. И она опять испугалась, потому что и Бога, – она знала это твердо, – она тоже любила.

А с неба все так же пронзительно и широко лились месячные лучи, углубляя тишину.

## VI

Барыня поздно вечером слышала шаги под окном, Килина тоже, сам Петр Васильевич обратил внимание на неистовый лай собак и, выйдя, заметил чью-то мелькнувшую тень с длинной палкой. Опасались воров, которые недавно поблизости ограбили хутор. И барыня настояла, чтобы прибить цепи к дверям и чтобы кучер Феогност, отличающийся необыкновенной силой, спал не в конюшне, а в доме, в передней, примыкающей к столовой и ее комнатам.

Феогност покорился без рассуждений и каждый вечер стал приносить в прихожую тонкую, как блин, стелюшку и устраивался на рундуке.

Он еще не гасил лампы и не ложился, когда в один из вечеров к нему в переднюю тихонько скользнула Марфуша из боковой двери.

– Вы, дяденька, не спите еще?

– Заснешь тут, – невольно проворчал Феогност, стараясь умерить свой бас до шепота. – Галдят, разорвало их, все уши прожужжали.

И он кивнул головой по направлению столовой. Оттуда, из-за неплотно притворенной двери, действительно доносились раздраженные возгласы, порой переходившие в крики.

– Ведь это никак барин с барчатами, – проговорила Марфуша. – Сама-то спать улеглась. Гувернантки тоже нет, у се-



бя давно, – прибавила она. – Да о чем это они?

– А вот слушай да разбирай. Шут их дерет. Марфуша присела на рундук и стала прислушиваться.

Разглагольствовал Петр Васильевич, гуляя, как всегда, по комнате с сигарой. Слова его доносились очень явственно.

– Таким образом, Поль, вопрос о твоём будущем выяснен. И прошу кончить с возражениями! Кончить! Я всегда лелеял мечту, что мой сын пойдет по дороге, по которой не удалось идти мне, что мой сын проникнется убеждениями, идеями, которыми я мучился, горел, жил! Я мог, уступая капризам больной твоей матери, оставлять тебя в правоведении, пока ты был мал. Теперь кончено. Ты переведешься в университет, а затем, по окончании, тебе готово место в земстве. Здесь надо служить, здесь надо работать, здесь приносить пользу... Я сам думаю выйти в отставку. Лучше трудиться, как поденщик, в поте лица есть хлеб, чем получать деньги ни за что! И трудись, и все будем трудиться, трезво смотря на жизнь. Я и содержать тебя в правоведении больше не в силах. Мы, слава Богу, не капиталисты какие-нибудь. Я всегда этим гнушался. Авиловку, последнее имение, продадут...

– Как?., папаша... – прервал его вдруг голос дочери. – И это имение тоже? Я не знала... *que nous sommes la*<sup>5</sup>, – прибавила она с легкой насмешливостью.

– Да, матушка, продадут, продадут! – раздраженно подхватил Петр Васильевич. – Никаких компромиссов! Поль

---

<sup>5</sup> Что таков наш итог (фр.).

должен знать, что служба, которой он себя посвятил (место ему даже сейчас готово, но пусть кончит университет), тяжела, неблагодарна, но зато это – путь честного труда, общественной пользы... И ты, матушка, изменишь жизнь. Я пренебрег твоим воспитанием, я допустил в дом этого паразита Сиверцева, прогнившего аристократа... Нет, вы меня еще не знаете. Я верю только в объединяющую любовь к человеческой пользе...

– Я не думал, папаша, что вы такой либерал, – осторожно заметил Поль. – Конечно, это все очень верно, но я твердо надеюсь, что вы сами не покинете вашей службы. Она несколько не мешает вам приносить пользу... И даже относительно нас... я думаю, что я, например, мог бы с успехом кончить свое образование в училище, где его начал...

– Никогда! – взвигнул Петр Васильевич. – Если бы я и остался на службе, ты, ты должен чтить убеждения отца, ты должен...

– Нет, папа, – тоже с раздражением в голосе начал Поль. – Позвольте вам сказать, вы не имеете...

Он вдруг замолк, оборвав на полуслове, точно его остановил кто-нибудь тайным движением руки. Голоса Али не было слышно.

К счастью, Петр Васильевич не заметил возражения сына. Он понесся дальше, раздражительно крича и кашляя.

– Я, дяденька, слушаю и все-таки не пойму: из-за чего они спорят-то? – шепотом обратилась Марфуша к Феогносту.

– То-то, что глупа ты, – проворчал Феогност. – А я уж ко всему этому весьма по привычке. Не слышишь разве? О каше спорят.

– О каше?

– Ну, а то о чем же? Барин-то кричит сынку, чтоб он себе сам кашу варил, а сынок-то, значит, желает, чтоб ему эту кашу сварили. Во-те и все.

– Да это, дяденька, на одно же выходит. Кто там ее ни вари, а все из-за каши они только и вздорят?

– Из-за каши, это верно, из-за ее одной. Другого понятия-то нет. Ох, Господи! Черви ползучие!

Они помолчали. Крики за дверью продолжались, но ни Феогност, ни Марфуша уже не вслушивались.

– А что я погляжу на тебя, девка, – начал Феогност. – Сильно ты с лица спала. Болезнь, что ли, в тебе али что? Ни этого, значит, румянца – ничего. Трость тростью. Глазищами только ворочаешь. Что это ты, а?

– Да ничего, дяденька, я здорова. А только... скучно мне, дяденька. Ох, как скучно! Однажды вы тоже об этой самой скуке говорили. И вспало мне на ум... И все думаю, и все мне тошнее да скучнее...

– Гм... Ишь ты, девка... – проворчал Феогност. – Что ж? – прибавил он как-то нерешительно и без всякого увлечения, – ну, замуж ступай. Авось повеселеешь.

Марфуша всплеснула руками и с укоризной взглянула на Феогноста.

– Дяденька! Прежде вы не так говорили. Что замуж? Я Аркадия очень люблю, он хоть и молод, а какой дельный. Да и человек хороший. А только... скучно, дяденька. И так живу, и замужем – все одна скука. Ведь одну землю-то буду топтать и замужем. Чему ж радоваться-то?

Феогност, казалось, был смущен. Он крикнул, почесал в затылке, потом вдруг, точно решившись, заговорил:

– Верно ты, дочка, рассуждаешь. Вот как верно. Скука, она, матушка, неизбытная. Экую скуку Господь сотворил! Сила! Тут не то что замуж, тут вот соберись сейчас народ, наряди меня в золотую митру, почни кричать: условляемся мы, Феогност, чтобы ты от века был фон-пере-фон-маршал-гоф-раван его светлейшее возвышение, и даем тебе над нами, человеками, власть жизнеотнимную. И вот мне на это решительно наплевать. Потому черви ползучие и решительно им не дано. Скука-то, Господи милостивый!

Он зевнул громко и безнадежно, и сейчас же прикрыл рот рукой. Марфуша сидела рядом с ним на рундуке, бледненькая, с опущенными глазами. Длинные ресницы бросали черную полукруглую тень на ее щеки. Она ничего не ответила. Феогност повздыхал, помолчал и опять начал с любопытным соболезнованием:

– Мадам-то тебя сильно загоняла, что ли?

– Нет, нет! – горячо подхватила Марфуша и даже покраснела. – Она славная такая. Добрая, больная. Она мне все рассказывает, рассказывает... Плохо говорит только, непонят-

но, а очень хорошо рассказывает... А что, дяденька... – прибавила вдруг Марфуша полупшепотом, – а что если она вправду... летает?

Феогност качнул головой.

– А ты нешто замечала?

– Нет... замечать я ничего не замечала...

– То-то вот и оно-то. И заметить-то не дано. А ей, може, и дано.

– А это, дяденька, грех?

– Грех? Н-ну, не знаю. Я бы, кажется, такого греха не побоялся. Месяц-то Божий. Сила-то вся Божья. Об каше цапаться не грех, а это грех? Ну, не знаю.

– Дяденька, миленький, а вот что еще... Какой вы, дяденька, добрый! Вы мое сердце разгуляли. С вами только и поговорить. Что, дяденька, эти самые... ну вот которые на гору-то, мимо месяца... Непременно старые?

– Знать я не знаю, а слышал, что все молодые. Это облик у них когда старый, когда какой. А на горе они все молодые. Потом захочет – опять в прежнее обличье вернется. А то надоест ей – кинет это обличье вовсе, а сама и пошла иначе гулять. А старуха, говорят, померла. Лежит скинутое обличье – вот те и померла. Доподлинно этого не знаю, а так слышал. Охо-хо, девка! Иди-ка ты спать. Морит меня. Эти наши фингалы-то будто поумолкли. И засну, и засну – во как! Теперь меня разбойники насквозь расстрелят – не услышу. Прощай, Марфутка, Господи-батюшка, скуки-то, скуки-то сила! Охо-

XO...

## VII

Барышня пропала.

Как это случилось, никто не знал. Двери по-прежнему оставались на замке, на цепях, Феогност клялся, что он за всю ночь ни разу не проснулся. Ясное дело, что барышня убежала в окно. Когда Марфуша в девять часов вошла в комнату, то постель была не смята, кое-какие вещи разбросаны торопливой рукой, окно приоткрыто, а на столе лежала незапечатанная записка. Крупным почерком Али стояло:

«Дорогой и бесценный папа! Не ищите меня. Все конечно. Я люблю графа Сиверцева и не в состоянии противостоять влечению моего бедного сердца. С горестью решаюсь покинуть дом тайно, но выбора нет: вы против нас. Позвольте все-таки надеяться, что когда-нибудь вы простите преступных детей ваших. Аля».

Когда весть о побеге разнеслась по дому, все пришли в страх. Кузина заперлась у себя от греха и торопливо занялась дорожными чемоданами. Поль был поражен. Он никак не мог проникнуть в расчеты сестры, ум которой ценил – и теперь только поводил круглыми глазами. Любит графа Сиверцева! Убежала! Без свадьбы! Он чуть-чуть не верил, что сестренка действительно влюбилась в графа и «сорвалась».

С Петром Васильевичем едва не сделался удар, когда дрожащий Аркадий подал ему записку дочери. Несколько се-

кунд он стоял, оглушенный, потом побледнел, позеленел до холода, схватил какую-то коробку на столе и сжал ее так, что она хрустнула.

– Гувернантку! – крикнул он сдавленным голосом. – Сюда позвать! Сейчас же!

Аркадий вылетел, как бомба.

Через минуту, сильно кивая головой, запахивая бархатную кофту дрожащими, растерянными руками, в кабинет входила мадам Лино.

Она хотела что-то сказать, но Петр Васильевич перебил ее, завизжал, заорал как извозчик, топая ногами, наступая на старуху все ближе.

– Ах вы, негодница! В моем доме! Вам поручено воспитание молодой девушки, а вы на такие дела! Молчать! Не мог этого ребенок помимо вас сделать! Покрывала, устраивала, с негодяем свела! Сколько он заплатил, а? Вон сию же секунду! Я к губернатору поеду, эдаких в тюрьму сажают, вон!

Мадам Лино слышала только слово, самое роковое для нее, думала она – вон. Она вся тряслась, слезы катились из мутных глаз с красноватыми веками, она ловила руки Петра Васильевича и повторяла:

– Monsieur... Monsieur... De grace...<sup>6</sup> Умоляю...

– К черту! – заорал Петр Васильевич, отталкивая с силой эти цепляющиеся за него руки. – Дрянь негодная! Сознается! Упеку в тартарары! В Сибирь! Сводила дочь с негодяем!

---

<sup>6</sup> Пощадите... (фр.)



Продада, ведьма проклятая!

Старуха умолкла и посмотрела на этого барина, обезумевшего, с пеной у рта. Она вдруг поняла, в чем ее обвиняют. Она выпрямилась и произнесла тихо, но внушительно, по-русски:

– Вы очень ошиблись. Я виновна, потому что стара, больна, боялась остаться без приюта и скрыла, что ваша дочь отказывается меня слушать. Она мне грозила. Я ее оставляла – она сильнее меня – и я ничего о ней знать не могла. Вы теперь клеветать хотите и криком, но я из благородной семьи. Кричать – это себя унижить. Я не продаю, не покупаю. Что взяты деньги – отдам, не надо. Дом оставлю. А унижать меня нельзя – о! Я благородной семьи. Себя унижать можно.

И что-то такое неожиданное было в этих словах, что Петр Васильевич на секунду опешил и отступил. Старуха подняла указательный палец вверх и с этим странным, театральным жестом вышла из комнаты. Петр Васильевич, все молча, проводил ее немного растерянными глазами.

Вечером Марфуша, заплаканная, бледная, убитая, помогала мадам Лино складывать ее дрянной чемоданишко. Она заботливо завертывала в дырявое полотенце щетки и желтый обмылок. Мутно горела незаправленная лампа. В окно, ничем не прикрытое, глядел узкий и длинный, слабо согнутый, большой серп молодого месяца. Старуха быстро ходила по каморке из угла в угол, бормотала негодуяще, сердито, громко, но понять ее было невозможно, она путала слова, и

без того прерываемые ежеминутным кашлем. В груди или в горле у нее при вдыхании что-то свистело и сопело. Она перебирала пальцами и неустанно обдергивала на себе стеклярусную обшивку кофты.

Марфуша глотала слезы. Она сама не знала, отчего ей так больно: от жалости ли или от того, что вот она уедет, а Марфуша не знает, и ничего не узнает и не увидит никогда. Вдруг старуха остановилась около нее, посмотрела пристально и положила костяные пальцы на голову девушки.

– Доброе дитя, – проговорила она явственно. – Одно доброе дитя и есть. Я дарить обещала. Дарить не имею чем, кроме вот: это у меня от Марты, о! Она удивительная была! Я долго хранила, но вот мне и не нужно. Пусть доброе дитя возьмет на память. Пусть надевает, тогда совсем как моя дочь будет лицом. Очень похожая.

Она наклонилась и с трудом вытащила из-под матраса длинное, зеленое платье, прямое, легкое, из очень дорогого и тонкого бледного шелка. Оно казалось не новым, но красивым, как поблекший стебель цветка.

– Вот... Моя дочь раз... Однажды... Изобразила девушку, утонувшую в реке... О, как это было удивительно! Это платье хранить надо... Оно такое... как волшебное. Вот тебе, девушка. На память.

Марфуша стояла без слов. Это было то самое платье, которому она удивилась, увидав его в первый раз. Она с благоговением и тайным ужасом дотронулась до нежной, облач-

ной ткани. Потом вдруг вспыхнула, схватила платье, горячо прижалась губами к рукам старухи и выбежала вон.

Мадам Лино должна была уехать на заре. Марфуше не спалось. Ее каморка была почти рядом и она несколько раз прокрадывалась по коридору к дверям старухи, слышала ее бормотанье, шаги, свистящий кашель и почему-то на минуту успокоенная отходила. Перед утром она забылась – и проснулась с ужасом, как от толчка, не зная, сколько времени прошло. Вздрагивая, она опять пробралась к старухиным дверям и стала слушать. Там царила глубокая тишина. Марфуша напрягла слух, стараясь уловить малейшее движение воздуха – но тишина была непроницаема. Ее там нет! – мелькнуло в голове Марфуши. Если нет – где же она?

Тихо-тихо Марфуша приотворила дверь, вошла в черную комнату и опять прислушалась. Та же каменная, холодная тишина встретила ее. Мало-помалу глаза привыкали, да и предутренние сумерки уже неясно чертили пятно окна. Марфуша медленно, безмолвно, крадучись, приближалась к постели, все еще лоя и ожидая услышать шелест дыханья. Но покой по-прежнему был ненарушим. Тогда Марфуша протянула руку, чтобы ощупать подушку. Сумерки редели, обнажая воздух. Марфуша вдруг вскрикнула пронзительно и дико. Старухи точно не было в комнате. Мутный свет близкого утра ложился на острые, сереющие черты трупa.

Приехавший через несколько часов доктор дал свидетельство, что французская подданная Мария Лино скончалась от

припадка грудной жабы, какую болезнью давно страдала.

## VIII

Прошли дни. И мало-помалу все в Авилровке вернулось в прежнюю, мирную колею. Гувернантку свезли и похоронили где-то в городе, вещи, чемоданишко, две книги, поступили в полицию для препровождения наследникам. В один из славных июльских вечеров приехали граф и графиня Сиверцевы. (Еще раньше было известно, что Аля обвенчалась на скорую руку в деревенской церкви, в одном из поместий графа.)

Было много криков, стонов, чуть не проклятий, но потом все обошлось прекрасно. Молодые пили чай на балконе, и вся семья была в сборе, даже мамаша выползла из спальни. Кузина улыбалась (она чуть-чуть не уехала, но не уехала). Поль сиял, надувал щеки и звал графа: «mon frere», Петр Васильевич, усталый, но разнежившийся, курил сигару за сигарой и разглагольствовал о каких-то школах, на которые граф обещал дать деньги. Граф старался держаться молодцом, но он сильно постарел. Руки у него тряслись, улыбка казалась забитой, и он все время влюбленными, испуганными глазами следил за женой. Аля, спокойная, самоуверенная, крупная, статная, держала себя удивительно. В длинном, гладком платье, в дамской шляпке, она смотрела женщиной вполне зрелой и очень красивой.

Когда после чаю она и Поль сошли вместе со ступеней балкона, Поль с шутливым благоговением низко поклонил-

ся:

– Графиня! Честь и слава! Только зачем этот побег? Пожалуй, ты батьку и так бы уломала.

– Как его уламывать? Граф мне не делал предложенья...

– Не делал? И ты все-таки решилась?

– А почему же нет? Ты видишь...

– Да, правда... Только я не понимаю...

– Глупенький! Да ведь он романтичен, *mon pauvre vieux!*<sup>7</sup>

Я сразу это поняла. Вот и все...

И она, улыбаясь, закусив длинный стебель сорванной травы, пошла по дорожке. Поль побежал за нею.

– Сестренка, сестренка! Теперь ты все устроишь, не правда ли? Я останусь в правоведении... И еще... ты знаешь, о чем я хочу сказать?

Он заглядывал ей в глаза.

– Вот что, дружок... Я тебе говорила... Старайся выработать характер. Конечно, я рада тебе помочь... Но, видишь ли, деньги графа в землях. Я поощряю его приобретать землю. Это очень доходно, если много земли, особенно в этих местах...

Они скрылись за поворотом, и Марфуша, которая случайно была в малиннике рядом, не слышала дальнейшего разговора. Марфуша была очень рада, что все помирились. Она никак не могла понять, из-за чего была ссора, потому что, казалось ей, все они любили одно и хотели одного и того же.

---

<sup>7</sup> мой бедный старичок (фр.).

И барин, и барыня, и барчук, и барышня одинаково радуются, что у графа – земли много.

Граф и графиня уехали, потом опять приехали и снова уехали. Казалось, что все это длится уже так давно, а между тем времени прошло немного. Едва месяц, который узким серпом смотрел в окно комнаты мадам Лино, успел вырасти в круглую, яркую луну. Стояли упорные жары, хотя уже август приближался. Аркадий все приставал, торопил со свадьбой, и Марфуша согласилась. Что его огорчать? А не все ли равно? Теперь Марфуша никогда не смеялась. Ее спрашивали, не больна ли она, но она чувствовала себя совсем здоровой. Только скука, скука повсюду была с ней, и все, на что она ни обращала глаза, было затянуто, как серой сетью паутины, скукой. Даже с дяденькой Феогностом Марфуша избегала говорить. Вечером она спешила к себе, в свою каморку. Там она зажигала свечу, вынимала бледное, широкое платье из зеленого шелка, и к ней приходили смутные и сладкие думы. Несколько раз она надевала это платье. Оно было ей немного длинно, и такое странное, все в складках, без рукавов. И оно влеклось за ней без шума, и сама Марфуша казалась себе в нем такой небывалой... Никто не видел у нее этого платья, ни за что в мире она его не показала бы человеку.

В жаркий вечер последнего дня июля Марфуша, как всегда, пришла в свою каморку, выждала, пока утомонились в доме, вынула платье и надела. Оно было такое прохладное.

Ей сразу сделалось легче. Окно ее комнатки было низко, выходило на двор, весь озаренный неподвижным белым светом. На дворе было совсем пустынно, даже собаки спали, даже сторож не показывался. И Марфушу потянуло вон, под небо. Никто не увидит ее, никого нет. А там легче, свежее. И какой свет странный...

Она села на подоконник, спустила ноги и бесшумно спрыгнула на землю. Платье запуталось немного, но она сейчас же его освободила и подобрала. Осторожно, стараясь держаться теневой стороны, она обошла дом и отворила калитку парка. Белые дорожки тянулись вниз, к озеру. Ночь была особенно жаркая, яркая и сухая. Марфуша невольно вспомнила тот вечер, ту ночь, когда они гуляли так же по парку, и старуха сидела недвижно и одиноко под ивой около омута. Марфуше захотелось взглянуть на это место. В душе не было тени страха. Да и вся душа была теперь другая.

Над неподвижным, как стекло, озером опять стоял месяц, но уже совсем полный, громадный, круглый, пронзительный. Казалось, он вбирал в себя все звуки, и от него кругом стояла безмерная тишина. Омут, ива и высокий берег под нею были освещены ровно и ярко. Только трава на берегу теперь была ниже и суше. Ее скосили, и тонкие стебли уже не поднялись на прежнюю высоту.

Марфуша подошла ближе. Две крепкие ветви старой ивы тянулись над самой водой, высоко от нее. Марфуше захотелось заглянуть в воду. Она осторожно села на ветви и подви-



нулась дальше. Ветви, толстые и черные, почти не погнулись. Как хорошо! Теперь Марфуша сидела над самой водой. Ноги ее закрывало легкое платье, которое ей было слишком длинно. Она посмотрела вниз – и вздрогнула: ей показалось, что на нее глядят оттуда два русалочьих глаза, и выются зеленые волосы. Но она сейчас же поняла и улыбнулась: это была она сама, над водой, странная, в странном платье без рукавов. Там, в омуте, была та же черно-голубая высота, как и над головой, с тем же месяцем, желтым и пристальным. Вода была так недвижна, что порою казалось – ее вовсе нет.

Марфуша вспомнила дяденьку Феогноста. Ей было хорошо не чувствовать под своими ногами темную, тучную, непрозрачную землю. Хоть немного побыть так. Она смотрела вниз, на желтый месяц. Как высоко! Отчего ей... не дано? А той, которая умерла, было дано. Да она вовсе и не умерла. Это она свой облик скинула, и сказали, что старуха умерла. А она летает около месяца, молодая и счастливая.

Марфуша наклонялась все ниже и все пристальнее смотрела на ровный, светлый круг под нею. Какая высота! И вдруг ей показалось, что маленькая черная точка движется мимо желтого круга быстро-быстро – и сердце ее забилося. Да, это непременно она. И Марфуша видит, глазами видит. Какая она глупая! Как она раньше не догадалась? Если она видит – значит и ей дано. Недаром была эта тоска. Недаром она молилась Богу. И зачем бы старуха подарила ей это платье, если бы в нем не было тайной силы? И она видит, она

многое может, все так просто. Не надо только бояться. Да она и не боится. И она почувствовала себя легкой, легкой, как облако. Внизу, в небесах, черная точка на месяце все росла, точно приближалась. Сердце Марфуши наполнила радость, какой она еще не испытала, радость освобождения. Скорей навстречу! Она раскрыла руки и упала вниз. Ей казалось, что она падает в небо.